

АЛЕКСАНДР СОЛИН

ТАНТАТИВА №2

18+

Александр Солин

Тантатива номер 2

«Автор»

2026

Солин А.

Тантатива номер 2 / А. Солин — «Автор», 2026

В отличие от разочарованного лермонтовского героя, который «вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно», я вступаю в новую, пережив старую реально и в отличие от него не истощив при этом «жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни», а потому смею надеяться, что при проживании второй жизни мне не станет «скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге»

© Солин А., 2026

© Автор, 2026

Александр Солин

Тантатива номер 2

ТАНТАТИВА №2

(Александр Солин)

Жизнь есть сон, снящийся Богу.

(Хорхе Луис Борхес)

*We are such stuff as dreams are made on,
and our little life is rounded with a sleep.*

(William Shakespeare)

И повторится все, как встарь...

(Александр Блок)

Ч А С Т Ы I

Мне приснился Бог, а поскольку Богу в свою очередь снилось, что жизнь, в том числе и моя, есть сон, мой камерный, усугубленный ватной тишиной морок стал еще более зыбким и неверным. Того и гляди, растает вместе со мной! Впору молиться, чтобы божий сон был как можно крепче!

- Ну, что притих, спрашивай! – проник в меня божий глас.

- А можно? – оробел я.

- Во сне все можно.

И я спросил первое, что пришло на ум:

- Сказано, что всё тщета и ловля ветра. И смысл жизни тоже?

- Мало ли что у вас там сказано.

- А правильно я понимаю, что если всё проходит, то и смерть тоже?

- Может, есть вопросы поумнее?

- Тогда не вопросы – жалоба. Можно? – осмелел я.

- Разумеется, - по-отечески обдал меня Бог своим неземным, небесно царственным сиянием.

- Я тут на днях подвел промежуточный итог своей жизни и сильно огорчился. Это же не жизнь, а черт знает что! Какой-то безграмотный убогий черновик!

- А я здесь причем? – прогудел Бог. – Тебе были даны разум, воля, способности, здоровье. Где-то даже с лихвой. Я что ли виноват, что ты всё профукал?

- Да, Господи, конечно, мне кроме себя винить некого! Но Господи ты боже мой, почему мы живем только раз? – загорячился я. – Ведь жизнь так коротка и так непроста! Кому и какая польза от нашего позднего ума? Ведь обидней всего не то, что всё проходит, а что проходит не так как надо! По мне жизнь должна быть подобна шахматной партии, проиграв которую можно сыграть новую! Каждый должен иметь право на реванш!

- Ишь, какой бойкий! Впрочем, это так по-человечески – строить планы на краю вечности! – улыбнулся Бог и, помолчав, вынес вердикт: - Хочешь реванша? Что ж, изволь. Как говорится, тантатива не крапива, спрос не вопрос. Так и быть, сыграю с тобой еще одну партию. Выиграть ты ее, конечно, не выиграешь, дай бог вничью свести, зато на покой уйдешь с чистой совестью. Ну что, согласен?

- Согласен, Господи!

- Вопросы есть?

- Есть! Это будет новая жизнь или исправление старой?

- Где ж я тебе новую возьму? У меня запасных жизней нет. Так что переписывай начисто свою.

- И правильно, Господи! – воодушевился я. - Новая жизнь – новые ошибки, а тут всё уже известно! Нет, правда, там есть очень даже симпатичные места! Детство, например. Оно у меня было хорошее, славное, можно сказать, счастливое. Туда же школа, институт... Да что говорить – первая треть партии была удачной, грех жаловаться! А вот дальше я бы кое-что решительно исправил.

- Что ж, дерзай. Только с ошибками поаккуратней, не перемудри. Не всё, что ты считаешь ошибками таковыми являются. Не дай бог исправишь не то – будет еще хуже.

- Так я же, вроде, буду всё знать наперед!

- Но, но! Всё знать наперед даже мне не дано! – нахмурился Бог. - И потом, что это за шахматы, в которых знаешь всё наперед? Это, сын мой, не шахматы, а наперстки! Хочешь – сыграем! Но тогда ты точно проиграешь!

- Честно говоря, не ожидал... - расстроился я. - Думал, начну с чистого листа с черновиком под рукой...

- Так и есть: с чистого листа по проторенной дорожке с царем в голове. Споткнешься – опомнишься, а нет – пеняй на себя. Главное, знай: не каждая яма – долговая, не каждый камень – преткновение. И еще: на всякий случай будут кое-какие ограничения, чтоб ты мне там дров не наломал. Так что не удивляйся. Ну, все понял?

- Понял, Господи!

- Тогда играем?

- Конечно, Господи! Все равно хуже уже не будет!

- Как знать, как знать! – усмехнулся Бог и участливо добавил: – На всякий случай мой тебе совет: никогда ни о чем не жалея, ибо все что ни делается – к лучшему.

- Спасибо, Господи, учту...

- Тогда я тебя сейчас переверну, как песочные часы, а дальше сам. Ну что, готов?

- Готов, Господи!

В отличие от разочарованного лермонтовского героя, который *«вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно»*, я вступаю в новую, пережив старую реально и в отличие от него не истощив при этом *«жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни»*, а потому смею надеяться, что при проживании второй жизни мне не станет *«скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге»* успел подумать я, прежде чем услышал:

- Ну, с Богом!

1

Секундный кульбит, и чистое дно моих песочных часов запорошили песчинки первых дней нового младенчества. Если уж меня уподобили песочным часам, то резонно было бы предположить, что первыми в нижнюю колбу посыплются песчинки последних дней моей прежней жизни, сделав меня не по-детски умудренным. Но нет: было по-особому и со значением темно – это когда изображения еще нет, но вы знаете, что фильм уже начался. Где-то рядом со мной королева мать и ферзь отец. Иногда они склоняются надо мной, но я их еще не вижу и не слышу. Скоро я открою глаза и буду таращиться на то, что впоследствии назову пространством. Пустое пространство страшит: оно должно быть заполнено лицом матери. Не отсюда ли берет начало наш страх замкнутой пустоты? Я зову мать плачем и приветствую бессмысленной улыбкой. Слайды кормления чередуются с беспамятством младенческого сна. И так день за

днем. Классический дебют спеленатого внеутробного, который я не в силах изменить. Все, что мне остается – это заявлять о себе тем или иным способом. Их, собственно, два: либо капризничать, либо улыбаться. Я пользуюсь тем и другим. За пеленками следуют фланелевые распашонки, и это уже новая степень свободы. Можно переворачиваться, ползать, сидеть. Родители радостными возгласами приветствуют мои достижения. Однажды я собираюсь с силами и, цепляясь за решетку кровати, встаю. Я еще в клетке, но готов сделать первый шаг. Заглянувшая в комнату мать разражается бурной радостью, подхватывает меня на руки, подносит к зеркалу, говорит: «Смотри, какой ты у меня уже большой!», и я вижу там свою довольную мордашку.

А вот весьма примечательный эпизод, совпадающий с моей первой, самой ранней памятью: я на коленях у матери захожусь плачем. Происходит это, как я теперь понимаю, в жаркой, пропитанной запахом бензина кабине грузовика. Пытаясь меня успокоить, водитель тычет пальцем в прибор, за круглой стекляшкой которого мечется тонкая стрелка. Уставившись сквозь слезы в прибор, я на несколько секунд замолкаю, и вид этой дрожащей, испуганной стрелки вонзается в память на всю жизнь. Убедительное подтверждение того, что черновик с божьей помощью переписывается. Ошибок же пока либо нет, либо они орфографической природы и на синтаксис жизни не влияют. Скорее же всего вмешательство просто неуместно, ибо река младенчества течет, как и положено истокам, естественно, прихотливо и свободно. Как бы то ни было, моя память вопреки ожиданиям не отягчена будущими событиями, и у меня нет ни малейшего представления о том, что, где и как я должен поменять. Остается дожидаться и понять, каким образом мне будет дано об этом знать.

Первые два-три года жизни чрезвычайно важны: именно в этом возрасте просыпается сознание, все более осмысленным становится взгляд, вещи обретают имена и значение, наполняются смыслом слова, будят воображение игрушки, нащупывается связь вещей, поступки делятся на «можно» и «нельзя». Я делаю то, что хотят родители: не бегаю, сломя голову, ем нелюбимую манную кашу, слушаю сказки, декламирую стихи – в общем, держусь в рамках дозволенного. У нас есть кошка коленкорový нос. «Мама, смотри, на крыльце *складбище* кошек!» – таковы перлы моего детского языка, что живет до поры, до времени в каждом ребенке. Со мной не надо быть строгим – я все понимаю с полуслова. Ранней сообразительностью я привожу родителей и ближайших родственников в неистовое умиление. По их единодушному мнению я идеальный ребенок. Таким меня в два с половиной года и приводят в детский сад. Заведующая сходу заключает: «Маленький он еще...» Мать-педагог с жаром пытается ее переубедить, заведующая вяло отбивается, я перевожу глаза с нее на мать и обратно, наконец мне это надоедает, и я громко и отчетливо говорю: «Мама, я не хочу в детский сад, пойдем лучше новое кино смотреть» У заведующей широко открываются глаза, она спрашивает: «А что это за новое кино?», и я снисходительно поясняю: «Я шагаю по Москве», хотя до Москвы мне из нашего провинциального городка еще шагать и шагать. Видно, педагогическому интересу молодой заведующей не чужд здоровый авантюризм, и для меня делается исключение. Стоит ли говорить, что история о том, как я сам себя определил в детский сад, стала для матери предметом несдержанной гордости.

Проходит несколько месяцев, и становится явью мое второе воспоминание, которое я приветствую радостным узнаванием. На дворе зима, и меня вместе с еще двумя карапузами везут на местное радио, где мы должны прочитать стихи. Нас выводят на широкое крыльцо, и меня буквально оглушает лунный свет. Зимняя луна в зените – огромная, ослепительная, радостная, заливая мир ликующим сиянием. В нем приглашение в сказку и праздничный блеск серебристой обертки шоколада. Потом меня поставят на стул перед микрофоном, и я с трогательным, по словам воспитательницы, выражением прочитаю стихи Агнии Барто. Дома меня будут ждать растроганные родители и шоколадные конфеты «Мишка на севере», но все это осядет на дне памяти нестойким, смазанным, бесцветным грузом, а поверхность украсится

переливчатой картиной волшебной луны с ее дивным, сказочным светом. Не с того ли зимнего вечера я неизлечимо болен полнолунием?

И все же не благолепием единым жива новая жизнь. Не чужд ей и драматизм. Мне четыре года, мы приезжаем на неделю в деревню, и в один из душных комариных вечеров я обнаруживаю себя между матерью и возбужденной коровой. Они бегут ко мне с двух сторон – мать, вытянув ко мне руки, корова – наклонив лобастую голову, и мать успевает умыкнуть меня из-под самого коровьего носа. Только почему прежняя память робко утверждает, что первой была все же корова, и я, совершив короткий полет, оказался в руках матери? Слава богу, в обоих случаях я остался цел и невредим, а потому дважды слава богу, что не дал бодливой корове рогов. И все же то лето запомнится не этим случаем и не парным, с животным вкусом коровьего вымени молоком, которое меня заставляли пить через силу, а запахом свежего сена, связанного с недетским предчувствием чего-то волнующего и сердечного.

Благодаря опеке родителей, детство мое катится, как круглый мяч по ровному полю. Есть три среды обитания. Это в первую очередь детсад, где мы все равны и где наша порывистая непоседливость усмирится правилами, распорядком и предсказуемостью. Здесь зреют и возникают предпочтения и симпатии, тут тебе и первый друг, и первая, не похожая на других девочка. Государство уже знает, кем мы будем через двадцать лет, и усердно нас к этому готовит. Мы – продукты системы дошкольного образования. Из нас лепят будущих членов общества, где все работают, а свободный образ жизни порицается и преследуется. Помимо детского сада есть родительский дом, и там я на привилегированном положении. С горячим, прочувствованным участием отношусь к тем, кто с малолетства был лишен самого главного – родительской любви. Сочувствую и разделяю затаенную обиду тех, кто рос без отца. Каково это – с детства жить со вкусом предательства, избавиться от которого способно лишь мстительное торжество при виде блудного, кающегося папаши у вас в ногах. Чрезвычайно редкое, между нами говоря, зрелище, ибо эгоистичны и трусливы нищие духом. Анафема – вот самое малое наказание для них. Такие отцы не заслуживают звания мужчин, и на том свете им воздастся. Для ребенка, однако, обидней всего не ущербная семья, а невозможность эту ущербность устранить: обстоятельства нашего рождения находятся за пределами нашего опыта. И наконец, улица, где мы, детеныши добрых и строгих взрослых, сбиваемся в стаю, процесс познания законов которой идет полным ходом. Боль воспитывает осторожность, инстинкты наполняются стадным чувством, мнение старших возводится в закон. Думаю, не ошибусь, если скажу, что детское непослушание – это превратно понятое стремление ребенка расширить горизонты дозволенного.

Как часто я, предлагая себя взрослым в помощники в их больших и важных делах, слышу: «Ты еще маленький». А вот для женской бани, куда мать берет меня с собой с малых лет, я однажды вдруг оказываюсь большим. «Да ему всего четыре, что он понимает!» – отбивается мать от строгой банщицы. Та склоняется надо мной и спрашивает: «Сколько тебе, мальчик, лет?» «Пять лет и два месяца» – с готовностью отвечаю я. Банщица улыбается и говорит: «Вот видишь, все он понимает... Ладно, проходите» Что ж, я и правда все понимаю, кроме одного – если мне можно мыться с голыми дядями, почему нельзя с голыми тетями? Потому лишь, что у их малолетних дочерей вместо моего краника гладкий пирожок? Я знаю, что стыдно – это когда у девочки трусы видно, но никто не стыдит ее за то, что она снимает их, чтобы пописать. Пять лет – это еще ангельский, бесполой возраст. Для него различия между полами чисто внешние: мальчики носят штаны и рубашки, девочки – платья, у мальчиков челки, у девочек – косички, мальчиков можно обижать, девочек нельзя. Как часто, когда кто-либо из нас в чем-то виноват, воспитательница принимает строгий вид и говорит: «Петров (Иванов, Сидоров), как тебе не стыдно!» Но как нескоро еще эта вменяемая нам вина разделится на сконфуженное Я и надзирателя-совесть!

Катится по ровному полю дебюта жизни круглый мяч моего детства. Оживают, цепляясь друг за друга, сцены, эпизоды и события, копируя прошлое и воплощаясь в настоящее. Одни

встречаются с жадным любопытством: в них столько трогательного и простодушного очарования, а вот поди ж ты, давно и прочно забыты. К другим стоит лишь приблизиться, и вспыхивает недобрый чутьем прежняя память, предсказывая, что через несколько секунд меня укусит вот этот добродушный лохматый пес, рваные следы зубов которого останутся на моем теле на всю жизнь. Остается только пожалеть, что я, даже будучи предупрежден, не успеваю увернуться от нападения. Одно из двух: либо копирование черновика происходит помимо моей воли, либо мой внутренний цензор, как и я сам еще недостаточно смышлен. А пока сменяют друг друга сезоны, невидимка-ветер рядится то в пыль, то в опавшие листья, то в снег, то прикрывается саваном тумана, а когда косматые черные тучи заволакивают горячее солнце, он бушует так, что кажется, будто город с трудом удерживается на месте, чтобы не улететь. Сейчас вокруг нежно-зеленое березовое буйство. Густо усыпана непобедимыми одуванчиками придорожная трава. Черемуха растеряла лепестки, отчего земля вокруг усеяна ими словно рыбьей чешуей. Вянет сирень и вместе с ней слабеет сиреневый запах. Солнце золотой расплавленной каплей стекает за горизонт. Сегодня день моего рождения. Мне шесть лет. Ждем гостей. В доме нервно дышат сквозняки, трепещут тюлевые занавески. С мяуканьем отворяется дверь, входят две соседки. У одной голос с гнусавинкой, у другой - с клекотом. Принесли шоколадные конфеты «Белочка». Я уже видел живую белку – в ней волнистая плавность чередовалась с мгновенной неподвижностью. Пришел мой седоголовый дед с бабушкой. Оба моложавые, щедрые, радостные – готовы задушить меня в объятиях и закормить шоколадом. Глядя на них, мне и в голову не приходит, что придет время, и я буду таким же взрослым, как они - то есть, даже взрослее, чем отец с матерью. Пока же я расту здоровым, любознательным мальчуганом. Я знаю четыре стороны света. Особенно мне нравится восток. Утром там встает солнце, а вечером луна. Запад я не люблю. Туда прячется день, оттуда тянет сизой грустью. С севера веет холодом, на юге жарко пылает солнце. А еще я знаю, что Земля круглая, а до Луны триста восемьдесят тысяч километров, то есть, почти в сто раз больше, чем от нас до Москвы. Со мной охотно играют другие дети, меня слушаются, ко мне жмутся те, на кого показывают пальцем и кого обзывают. Я защищаю девочек и всегда готов дать сдачи. Завтра в детсаде мои сверстники подарят мне свои рисунки и окружают праздничным вниманием, за что я буду угощать их шоколадными конфетами. Потом нас выпустят на обнесенную штaketником площадку, и мы беготней и птичьим гомоном украсим наше ничем не омраченное вхождение в мир. Пусть же длится это счастливое, беспечное, похожее на отсрочку не оглашенного приговора неведение или, говоря словами писателя, вписавшего детские голоса в художественную ткань мира: *«Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея»...*

2

Казалось бы, чем старше я становлюсь, тем сильнее должно быть ощущение расхождения желаемого с действительным. Но нет: жизнь моя течет ровно и плавно. Ни малейшего, даже смутного подозрения, что я проживаю жизнь заново. Разве что только события, более-менее запавшие в прежнюю память, воспринимаются мной как уже виденное разной степени удивления – от радостного до тревожного. К этому подсознательное, с налетом навязчивости стремление переживать происходящее во всей его уникальной, чувственной, непреходящей полноте. Я не по-детски наслаждаюсь жизнью, как будто это делает кто-то другой, гораздо старше. Я жадно вглядываюсь в окружающий меня мир, и внутри меня восстает что-то давно и прочно забытое. В отличие от тех, чье время подтекает с монотонностью неисправного кухонного крана, мое время наполнено призывными звуками, яркими красками, пряными вкусами и манящими запахами, которые я с запоздалым, ностальгическим, по сути, удовольствием тороплюсь впитать. Кого-то школьные будни тяготят, меня наоборот, воодушевляют, и в школу я иду, как на праздник. Поглощение знаний идет полным ходом и не в угоду какому-то там интуитив-

ному позыву из будущего, а благодаря природным способностям и любознательности. Сегодня я в полной мере понимаю скрытое значение присвоенного моему опыту символа песочных часов, а именно: вопреки моим тайным ожиданиям ни количество, ни качество моего песка (так и хочется сказать: моего будущего праха) не прибавились, ибо прибавление означало бы нарушение положенного в основу мироздания закона сохранения энергии. Отнять же у кого-то часть энергии и передать мне - согласитесь, было бы не по-божески. А потому рассчитывать я изначально мог только на свои неявленные резервы.

Я по-прежнему обитаю в тех же трех средах, только теперь вместо дetsада – школа. Их можно представить в виде умозрительных замкнутых сфер влияния. В каждой свой язык и правила, у каждой свое тяготение и атмосфера, каждая по-своему уникальна и незаменима. Их значение для меня растет по мере моего взросления и их удельные веса пока распределены между собой приблизительно поровну. И хотя отец с матерью остаются главными для меня людьми, крепнет влияние школы и улицы. То, что я узнаю в школе, я несу на улицу, уличные же познания – в школу. В восемь лет я уже всю употребляю слово из трех букв, а уж написать его на заборе считается среди нас особым шиком – даром что ли нас в школе учат читать и писать! Приблизительно к этому же времени относится мое первое знакомство с табаком. Спасибо соседу дяде Васе, который заметив меня курящим в компании таких же опьяненных уличной свободой пацанов, сообщил об этом родителям. Мать-педагог основательно выпорола меня, чем отбила желание курить на всю жизнь. И это был тот самый случай, когда ошибки исправляет сама жизнь.

И вот, наконец, в девять лет мне впервые довелось повлиять на событие, прописанное в черновике моей прежней жизни. Месяца за три до этого мне для упрочения, как я теперь понимаю, гуманного начала подарили щенка – беспородного и бестолкового, как и его бродячие сородичи, что круглый год слонялись по улицам нашего города. Днем он с трогательной щенячьей преданностью бегал за мной, а на ночь я запираю его в сарай, и если мне случалось опоздать с его утренним освобождением, он наполнял округу жалобным, обиженным воем.

Однажды во двор нашего двухэтажного дома к одному из соседей приехал на повозке родственник. Он распряг лошадь, привязал к повозке, сунул ей сено и ушел. Появление во дворе, давно и прочно привыкшем к автомобилям, транспортного средства мощностью в одну лошадиную силу вызвало в наших малолетних рядах шумное любопытство. Лошадь мерно жевала сено, подергивала кожей, переминалась, обмахивалась хвостом – словом, была живая. Кто-то молча и заворожено наблюдал за ней, кто-то хвастался, что у его деда в деревне такая же, только еще лучше, кто-то пытался подбросить ей с другого конца повозки сено. Я же стоял в сторонке и смотрел на нее с необъяснимым, нарастающим беспокойством, ставшим, наконец, предчувствием: что-то должно случиться. Вдруг я увидел, как мой бесшабашный щенок направляется к лошади и останавливается буквально в полуметре от ее копыт. Тут время на секунду замерло, и в моей голове с ослепительной, молниеносной, неправдоподобно реальной ясностью пронеслось видение: глупый щенок тычется носом в лошадиную ногу, лошадь лягает его в голову, и щенок замертво валится набок. Мгновенный ужас прогоняет видение, я кидаюсь к лошади и ору что-то нечленораздельное. Щенок в испуге шарахается, я подхватываю его, тащу в сарай, и он жалобно воет там, пока злосчастная лошадь с ее архаичным седоком не покидают пределы двора. Ночью мне снится, как я на виду у потрясенного двора бьюсь в истерике над мертвым щенком, как выбежавшая мать уводит меня домой, а щенка куда-то уносят. Снится, как мать пытается меня успокоить, и ей это не удается. Снится, как я всю ночь рыдаю во сне, зная наперед, что больше ни за что и никогда не заведу собаку...

Утром я выпустил скулящего щенка на волю, и вскоре летние радости заслонили от меня вчерашний случай. В этом возрасте события не имеют разумного, а уж тем более эзотерического значения. Их либо забывают, либо они становятся очередной засечкой жизненного маршрута. В продолжение истории скажу лишь, что через два месяца щенок от меня сбежал.

Я, конечно, погоревал, но не так исступленно, как если бы он стал жертвой лошади. Будь я лет на десять старше и в ладах с мистикой, я бы решил, что судьба, желавшая смертью щенка преподать мне жестокий урок сострадания, ворчливо устранила его из моей жизни другим, щадящим способом, чем избавила от весьма болезненной детской травмы.

3

Что за чудная штука, эта память! Вот уж, воистину, феномен феноменов! Питаясь настоящим, она творит наше бытие, подшивает прошлое и вглядывается в будущее. Созданная Космосом, она является неотъемлемой частью вселенского разума и его летописцем. Причудливая и капризная, она полна загадок и парадоксов. К примеру, память помнит даже то, чего не было в реальности. Кто только не пытался проникнуть в ее тайны! Один Пруст чего стоит! Вот и я не перестаю удивляться ее странностям: пустые, необязательные, преходящие мгновения она порой хранит с наскальной нерушимостью, и наоборот: важные, назидательные, нетленной, казалось бы, породы события растворяются в ней без малейшего осадка.

Итак, процесс моего взросления шел в полном соответствии с законами педагогики. Мое воспитание и образование, как я уже говорил, происходило в трех средах, а потому предполагало официальную (пресса, теле, радио) и неофициальную (анекдоты, прибаутки, матерные стихи) точку зрения на мир. Я усваивал начальные архетипы и приобщался к основам коллективного бессознательного того мира, в схватку с которым мне предстояло вступить. Намеренно не касаюсь состояния и качества звездной пыли и уровня радиации той поры, что понижывали планету и определяли условия и формы существования ее населения. Кто помнит конец шестидесятых прошлого века, тот их представит, кто не помнит – пусть оглянется вокруг и сделает поправку на деградацию человеческого общества. Для меня же в ту пору история цивилизации ограничивалась рамками избранных мест семейной хроники. Я уже знал, что дед и бабушка, родители матери, родом из одной деревни. Дед сам выучился играть на гармонии, и как говорила бабушка, был *первым парнем на деревне*. С автоматом и гармонью он прошел всю войну, а после войны переехал с бабушкой и тремя детьми в небольшой сибирский городок, где живу теперь с родителями и я. Отец мой из детдома, и мне пока трудно понять, хорошо это или плохо. Одно знаю точно – он, как и мать очень сильно любит меня, а мать так просто трясется надо мной. А все потому что до меня у них была дочь – моя сестра, которая умерла в три года. Моя мать – педагог, отец – железнодорожник, и при мне они никогда не ссорятся. У матери, ее брата и сестры – красивые, сильные, глубокие голоса: у дяди – бас, от которого во время застолий мелко дрожат хрустальные подвески люстры, у тетки – что-то оперное. Не удивительно, что такой концентрированный семейный дар не обошел и меня. Я тоже пою, пою все подряд и с удовольствием. Кроме того, по настоянию деда учусь играть на баяне. Дед считает, что людям никак нельзя без музыки, а потому музыка – верный кусок хлеба. В музыкальной школе нас учат слушать природу. Говорят, что природа своими голосами указала человеку путь к музыке и в пример приводят «Полет шмеля» и «Сказки Венского леса». Так или иначе, музыка входила в меня с арией мистера Х и со сладкозвучным индийским гостем, и с маршем тореадора, и с танцем с саблями, и с вальсом к «Маскараду», и много еще с чем.

В музыкальной школе у меня есть друг – Петька Трофимов. Ему, как и мне десять лет. Однажды на уроке наша учительница велела нам не шуметь, а сама вышла из класса. Несколько минут мы сидели тихо, а потом Петька склонился к баяну и заиграл вполсилы что-то тягучее и чувствительное. Кто видел, тот знает самозабвенную привычку доморощенных баянистов сливаться в такие моменты с баяном щекой. Я глянул на него, и меня обожгло внезапное видение. Совсем как со щенком! Я увидел, как Петька играет, припав щекой к баяну, и вдруг с левой стороны на плоскую перламутровую поверхность влетает круглое зеркальце и разлетается на куски, один из которых попадает Петьке в глаз. Я в ужасе кричу ему: «Стой!» Он выпрямля-

ется и смотрит на меня с недоумением. «Петька, - возбужденно говорю я ему, - никогда так не играй, иначе будет плохо!» «Чего плохо? Ты чего?» - смотрит он на меня. «Будет плохо, я чувствую!» - все еще под влиянием мысленного ожога отвечаю я. «Ты чё, Мишка, шутишь?» - подозрительно смотрит на меня Петька, решив, наверное, что я его разыгрываю. Вернулась учительница, урок продолжился. Больше мы к этому разговору не возвращались. Случилось это в начале мая, а через месяц мы разошлись на каникулы. Когда в сентябре мы встретились в музыкальной школе, у Петьки вместо левого глаза была безжизненная стекляшка. Что, где, как, почему – набросились мы на него, и он поведал о взрослой компании, где ему велели сыграть что-нибудь красивое, и о зеркальце, прилетевшем ему на баян от подвыпившей дуры...

Таким было мое второе видение. Мне бы насторожиться, соединить его с первым и признать за ним статус неслучайности, из чего следовал бы вывод о наличии у меня пугающего дара предвидения – но нет: для этого мне пока не хватало ума. В случае же с Петькой обидным было то, что мое предупреждение оказалось холостым. Иначе и быть не могло: расскажи я Петьке о том, что видел, он бы просто поднял меня на смех! И все же для меня он так и остался живым укором моей детской нерасторопности.

Не хотел бы перегружать мое повествование биографическими подробностями, какими бы драматичными они ни были. С одной стороны, они никого, кроме меня не касаются, а с другой – отвлекают от существа авантюры, в которую я ввязался, а именно: взялся со второго раза одолеть путь, с которого сбился в первый раз. Почему авантюра? Да потому что со второго раза сыграть без ошибок не получится даже этюд до-мажор К. Черни! Так что упоминание здесь того или иного события делается с единственной целью - попробовать его судьбоносность на зуб. Существенным при этом является генезис моего отношения к кому-то или чему-то и встречное отношения ко мне.

4

После случая с Петькой внутри меня поселилось некое беспокойство. Подспудное и поначалу необременительное, оно напоминало состояние, в котором находишься, когда не выучил урок и печенками чувствуешь, что тебя вызовут. Где оно было раньше – бог его ведаёт: ведь те, за которых я теперь переживал, были вокруг меня и прежде. Так или иначе, отныне я с опаской поглядывал вокруг в ожидании очередного подвоха. Прибавьте сюда уже ставшее привычным уже виденное (опять двадцать пять за рыбу деньги! – как любил приговаривать мой дед), и вы, возможно, поймете мое новое состояние.

По чьей-то зловерной, насмешливой прихоти окружающие меня люди (за исключением родных и близких, разумеется), квартировали в моей памяти преимущественно за счет их неприятностей. Если же учесть, что жизнь полна неприятностей, то помноженные на число моих друзей и знакомых, они грозили стать для меня, альтруиста поневоле, непосильным грузом. Слава Богу, что он подчинил жизненные напасти закону водоема, согласно которому крупной рыбы в нем гораздо меньше, чем мелкой. Так и здесь: на одно крупное, заслуживающее внимания злоключение приходилась сотня мелких, назидательных, в которых *«опыт, сын ошибок трудных»* нашел бы больше пользы, чем вреда. Предупреждения о них приходили ко мне без драматических ожогов – просто вспыхивала картина их последствий и медленно гасла, словно давая возможность оценить ущерб. Я заметил: если картина была яркой, значит, я сам буду свидетелем происшествия, если размытая – узнаю о нем со стороны. В конце концов, до меня дошло, что беспокоиться по пустякам о других (исключая опять же родных и двух-трех закадычных друзей) – себе дороже. К такому выводу я пришел после того, как посоветовал соседскому пацану добираться на рынок, куда он был послан матерью за молоком не на велосипеде, а пешком. Он не внял, оседлал велосипед, на обратном пути с бидоном на руле упал, разлил молоко и сломал руку. Когда же я встретил его, загипсованного, он со злостью выпалил:

«У тебя, Мишка, дурной глаз! Ты меня сглазил!», после чего перестал со мной дружить, а я – размениваться на мелочи. Перемена пошла на пользу: беспокойство поутихло и стало почти незаметным, как шум в ушах моего деда, к которому, по его словам, он привык.

Для полноты диспозиции сообщу об одном важном наблюдении, а именно: когда мы играли в футбол, я при всем желании не мог предсказать, кто победит. Более того, все мои прогнозы по поводу исхода событий состязательной природы, будь они дворового или мирового значения, были исключительно гадательного свойства. То же самое касалось азартных игр, где Бог играл с людьми в кости. И это было хорошо, потому что давало мне возможность предаваться наравне с другими шумному, эмоциональному чувствоизъявлению. Также непредсказуемыми для меня оказались события городского масштаба, не говоря уже о тех, что происходили за тридевять земель. Получалось, что видения мои касались только меня самого и моего окружения. Это означало, что вмешиваться я мог только в жизнь ограниченного круга лиц, который я, не желая, чтобы на меня показывали пальцем или крутили им у виска, сузил до клуба избранных. Так, например, случилось с соседом, добрым весельчаком дядей Васей, имевшим старенький мотоцикл, на котором он, как мне привиделось, должен был благополучно скатиться в кювет. Я как можно деликатнее его предупредил, что у мотоциклов иногда на полном ходу лопаются шина переднего колеса и что не следует увлекаться скоростью, на что дядя Вася, оглядев меня - белобрысого, вихрастого, больше похожего на яйцо, чем на курицу паренька, пыхнул папиросой и философски заметил: бог не выдаст – свинья не съест. Когда же мое пророчество сбылось, дядя Вася, сияя синяками и потирая ушибленные места, при виде меня не сдержался:

«Ну ты, Мишка, прямо накаркал!»

Туда же случай с моим дядей, заядлым рыбаком, которого я однажды увидел во сне выплывающим из реки в полном рыбацком обмундировании.

Утром мать сказала:

«Сегодня дядя Леша едет на рыбалку, обещал рыбу привезти»

«Не привезет» - хладнокровно возразил я.

«Откуда ты знаешь?» - удивленно посмотрела на меня мать.

«В такую погоду рыба не ловится» - уклонился я, уже зная, что на середине реки у резиновой лодки дяди неожиданно станет травить воздух, и он отчаянно погребет к берегу. Метрах в десяти от берега лодка вместе со снастями и уловом пойдет ко дну, но дядя Леша, слава богу, выберется. Так все и случилось. Дядя потом долго потешал публику этим незадачливым, приключением, заключая свой рассказ словами: «Всё хорошо, что хорошо кончается».

Не всё, к сожалению, кончалось хорошо, и тогда моя удручающая осведомленность доставляла мне недетские страдания, ибо нет ничего хуже бессильной сопричастности. Так случилось с моим одноклассником Стасом Моховым. В одиннадцать лет он хорошо и красиво плавал, что делало его излишне самоуверенным. Я с моим слишком вольным стилем ему в подметки не годился. В конце мая 1971 года я вместе с другими мальчишками нашего 4«А» выбежал из школы, чтобы распрощаться до осени. Сбившись в возбужденную стайку, мы галдели, перебивая друг друга, пока вниманием не завладел Стас, который объявил, что летом вместе с родителями едет под Ярославль и что он там обязательно переплывет Волгу. Стали спрашивать, какой ширины может быть в этом месте река, и он сказал, что около километра. Я смотрел на его возбужденное лицо, и вдруг меня опалило жаркое видение: Стас прыгает с высокого берега в воду и... всё. Я испугался: видение такой силы не сулило ничего хорошего. Когда стали расходиться, я догнал Стаса и по возможности убедительно сказал ему:

«Стас, тебе нельзя нырять с высокого берега»

«Чего-о?» - посмотрел он на меня свысока.

«Лучше не нырай с высокого берега...» - повторил я упавшим голосом.

«Да иди ты!..» - бросил он и пошел дальше.

Я снова догнал его, схватил за рукав и почти взмолился:

«Ну, послушай меня! Я правду говорю! Честно!»

«Да пошел ты, Мишка, куда подальше! Чего прицепился?»

«Стас, ты можешь... утонуть!» - в отчаянии выкрикнул я.

«Чего-о? Утонуть? – презрительно скривился Стас. – Это ты, лягушонок, можешь утонуть, а не я! Всё, давай, вали!»

Я так и остался стоять, беспомощно глядя ему вслед.

А через месяц пришла весть, что этот хвастун напояк девчонкам сиганул с крутого берега Волги и, напоровшись на корягу, утонул. О покойниках либо ничего, либо хорошо, но я, не ведая об этой пока еще мешковатой для моего возраста истине, в порыве бессильного отчаяния пробормотал, упирая на букву «р»:

«Дурак ты, Стасик, ну, дурак!»

Накануне похорон нам сказали, что тот, кто пожелает, может с ним проститься. Кого-то не пустили родители, однако я, заручившись разрешением матери, пришел. Это были первые похороны, свидетелем которых я был, но мне было не избавиться от назойливого впечатления, что всё это я однажды уже видел. Одноклассники робко подходили к гробу и тут же отходили, чтобы спрятаться за спинами взрослых. Девчонки плакали, мальчишки сурово отводили глаза. Происходящее не укладывалось в их одиннадцатилетних головах, оно было вне их горластого, жизнерадостного разумения. Из всех скорбящих только я был готов к тому, что случилось. Прощаясь со Стасом, я взглянул на его неживое лицо и тут же отвел глаза. Его так и похоронили с выражением обиженного недоумения.

5

То был первый раз, когда я так близко соприкоснулся со смертью. Буквально сказать, заглянул ей в лицо. Гнетущее впечатление от нашего знакомства усугубилось моей неудачной попыткой ей помешать. И все же смерть моего сверстника не поколебала мою веру в собственное бессмертие и в бессмертие моих родных. Подтверждением тому моя сестра, которая, по словам матери, не умерла, как остальные, а вознеслась на небо и теперь вместе с другими ангелами охраняла нас от всяких бед.

К моему двенадцатилетию я по-прежнему был умеренно озабочен своими и чужими неприятностями. Не то чтобы в моей жизни не было радостей – они были, нормальные детские радости. Это когда твоя сообразительность и ловкость делают тебя первым среди равных, а наградой - скупая похвала старших. И все же крепко подспудное убеждение, что в жизни неприятности важнее радостей. Почему-то именно они были у моей памяти на особом счету и исправно являлись мне, перед тем как случиться. Чтобы жить с этой напастью, надо было либо закрыть глаза и заткнуть уши, либо приобрести репутацию провидца и ею отводить грядущую беду. Не зная, что делается в головах других, мне, однако, и в голову не приходило считать себя каким-то особенным по части предсказаний. Да и как могло быть иначе, если каждый из нас запросто мог предсказать, что будет с нами через полчаса или даже через год. В первом случае будет урок русского языка, и училка вызовет Кольку Артамонова и поставит ему двойку, а после него - Людку Смирнову, и поставит ей пятерку, да еще и скажет: «Вот, Артамонов, учись, как нужно отвечать!». Ну, а через год мы будем уже шестиклассниками. А еще после уроков мы будем играть в баскетбол, и Яшка Гилевич, такой же неуклюжий, как и азартный, обязательно упадет и расшибет локоть или колено. И все же, почему предупреждаю только я? Кстати, все, кого я предупреждал, так и не вняли мне. Будь я поумнее, я бы зарубил себе на носу, что не каждый, кто предупрежден – вооружен: для того чтобы предупреждение вооружало, оно должно исходить от авторитета, а чтобы таковым считаться, необходимо иметь репутацию. Ну, ладно для других я не был авторитетом, но почему иногда выходило так, что я

и сам не мог избежать того, о чем предупреждала моя память? А потому, скажу я вам с высоты нынешних лет, что есть события, планируемые нами и события, планируемые за нас. Только откуда мне это было знать в двенадцать лет, если многие не догадываются об этом и в сорок? И всё же, если я такой же, как все, а все такие же, как я, почему никто не предупредил меня, что после драки с Шуркой Злобиным из 5«Б» мою мать вызовут к директору и, предъявив разбитый нос Злобина, обзовут ее сына хулиганом? А ничего, что этот урод на моих глазах толкнул нашу Соньку Крылову так, что она упала, и у нее до резинок задрался подол? Ну да, она мне нравится, но я бы врезал Злобину за любую нашу девчонку! Сам-то я уже за пять минут до злосчастной перемены знал, что меня не должно там быть, но пошел туда и подрался. Несмотря на горячую защиту Соньки, мать восприняла директорский выговор близко к сердцу и, придя домой, рассказала все отцу. Отец, которому в детдоме не такое приходилось видеть, строго велел:

«Ну, что там у тебя случилось, выкладывай»

Я выложил. Отец повеселел и сказал:

«То, что девочку защитил – хорошо. То, что подрался на виду у всех, да еще в школе – плохо. Девочке надо было помочь, а этого обормота не трогать»

«Так мне что, училке надо было пожаловаться?» - загорячился я.

«Не училке, а учительнице. Тебе бы понравилось, если бы твою маму звали в школе училкой?»

«Нет» - насупился я.

«То-то же, - улыбнулся отец. - Нет, жалуются пусть другие, а я бы на твоём месте встретил этого типа в безлюдном месте и проучил бы как следует»

«Что ты такое говоришь?! - ужаснулась мама. – Ты чему ребенка учишь?!»

«Во-первых, он, судя по всему, уже не ребенок, а во-вторых, такова жизнь. Мужчина должен защищать себя и своих близких» - внушительно объяснил отец.

И вдруг пришурившись:

«А скажи-ка, Мишаня, девочка эта, за которую ты заступился, наверное, нравится тебе? Ну, чего краснеешь? Ну, ладно, ладно, всё, проехали...»

И обращаясь к матери:

«Видишь мать, у нас, слава богу, мужик растёт, а не размазня какая-нибудь...»

Мой славный, несравненный отец! Вот кого я всем сердцем желал остеречь от неприятностей, тем более что при его должности (главный инженер локомотивного депо) их не могло не быть! Но видно это было не моего ума дело, и отец если и обсуждал их с матерью, то не в моем присутствии, отчего в моей памяти их не было. Он обладал уникальной способностью быть для всех своим – и для работяг, и для конторских, и для трезвенников и для горьких пьяниц. Вот у него авторитет, так авторитет! Бывало, идем с ним по локомотивному хозяйству, навстречу люди, и у него для каждого есть, что сказать, и каждый слушает, кивая и поддакивая, а выслушав, торопится исполнять. Никогда не слышал, чтобы он повысил на кого-то голос. Однажды после школы я, уже зная, что вечером он придет с работы и буднично скажет матери: «Ну, всё, подписали...», имея в виду приказ о его назначении начальником депо, спросил у матери:

«А почему наш папа не начальник депо?»

«Это уж надо его начальство спросить» - рассеянно отвечала мать.

«Скоро папа обязательно будет начальником депо» - заявил я.

«Ты-то откуда знаешь?» - воззрилась на меня мать.

«А ты разве не знаешь?» - удивился я, находясь в полной уверенности, что если знаю я, то должна знать и она.

«Что я должна знать? – забеспокоилась мать. – Папа что, днем звонил?»

«Нет, это я просто так» - свернул я разговор.

Вечером пришел отец и буднично сказал:

«Ну, всё, подписали...»

Мать со словами «Наконец-то!» кинулась его обнимать, а он со скупой улыбкой сказал:

«Накрывай, мать, на стол, надо отметить...»

Месяца через два мать, ласково улыбаясь, спросила:

«Мишулька, а ты хотел бы братика или сестричку?»

Я бы хотел, но что-то мне подсказывало, что этому не бывать. Так всё и случилось: еще через месяц отец привез домой поникшую, заплаканную мать, уложил ее в кровать, после чего они долго и горячо бормотали у себя за дверью. О том, что случилось, я узнал не от них, а от старшего товарища по двору, который, положив руку мне на плечо, сказал с суровым мужским участием:

«Сочувствую тебе, Мишка. У моей старшей сеструхи была такая же ерунда»

Слово за слово, и выяснились подробности, которые обогатили мой лексикон неприятным и неопытным словом «выкидыш».

6

Слово было для меня новым, и все же мне показалось, что я его уже слышал, только хоть убей, не припомню когда. Впрочем, подобные казусы лишь укрепляли мое уже ставшее привычным ощущение, что всё, что со мной происходит, когда-то уже было. Получалось как в комедии про Шурика, который по отдельным приметам чужой квартиры вспоминает вдруг, что он здесь уже бывал. Кому-то, может, и смешно, а мне не до смеху. Ища подтверждение затмению экранного Шурика, я спросил у матери, может ли такое быть.

«Да, такое бывает, - ничуть не удивилась мать. - Дежа вю называется»

«Как, как?» - не понял я.

«Де-жа вю, - отдельно произнесла она. - Слово такое французское. Так и переводится – уже виденное. А почему ты спросил?»

«Просто интересно стало» - уклонился я, донельзя довольный, что я такой же, как все. В моем возрасте это было важно. Всякое отклонение в ту или иную сторону от среднеарифметических способностей моих сверстников имело свои последствия. Будь я в чем-то слабее, и мой удел в лучшем случае - покровительственная снисходительность. И наоборот: мои футбольные подвиги признавались постольку, поскольку они совершались во славу команды. Попробуй я ими бравировать, и мне быстро бы объяснили, что я лишь часть общей победы. То же самое с учебой: знания давались мне легко (я словно повторял однажды пройденное), а раз так, должен был делиться: подсказывать и давать списывать. Способностей, успехов и похвал следовало стесняться: заносчивых не терпят в любом возрасте.

В детстве, отрочестве и отчасти в юности не спрашивают, зачем живут. В эту пору просто живут и открывают мир. Искать же смысл жизни начинают, когда иссякает животворное детское начало. А пока всё в радость и каждое лыко в строку. Даже драка. А как иначе: подростковое сообщество живет по законам городских джунглей, будь это хоть в столице, хоть в провинции. Иерархия – мать порядка, но время от времени кто-то пытается оспорить у другого право верховенства или поставить кого-то на место. И это нормально – *ангелы в джунглях не живут*. Не были ангелами ни я, ни Витька Шихель - мой одноклассник из нашего дома, с которым у меня сложилось негласное соперничество. Я был ловчее, он сильнее, и вызовы нашей незамысловатой, порывистой жизни мы преодолевали, словно напоказ друг другу. Мы были как два молодых кота на одной территории с ее чердаками, подвалами и кошками. До поры, до времени дело обходилось взаимным шипением, но было ясно, что рано или поздно мы должны будем сцепиться. И вот как-то раз мартовским вечером, мглу которого потемневший снег только усугублял, наша дворовая компания, остывая от дневных забот, перебрасывалась

ленивыми фразами, перед тем как разойтись по домам. Главное уже было сказано, впереди нас ждал новый день, и вдруг Витька ни с того ни с сего ляпнул в мою сторону:

«Ну что, Мишка, вы с Сонькой Крыловой уже целуетесь?»

От такой неслыханной наглости я на несколько секунд оторопел, чем он воспользовался, обратившись к остальным:

«Представляете, пацаны, они после уроков сначала поют, а потом целуются! Как в кино!»

Мысли мои заметались от злобного «Не твое собачье дело!» до унижительного оправдания, что меня заставили ей аккомпанировать, но два старших товарища обидно заржали, и довольный Витька вконец обнаглел:

«Ты, Мишка, поосторожнее, а то будет выкидыш, как у твоей мамы!»

И тут я ему врезал прямо в глаз. Он кинулся на меня, мы упали и покатались на виду у всех. Он был сильнее, он оседлал меня и принялся лупить, метя в лицо. Я прикрывался, как мог, чувствуя, что положение мое аховое. И вдруг глаза обожгла яркая картина того, чему суждено быть: Витька добивает меня, лежащего, потом встает, торжествующий, и хрипит: «Ну что, сука, получил? Хочешь еще?» И за этим вселенский позор, который отравит меня, униженного и побежденного, на долгие годы. «Не-е-ет!!!» - внезапно взревел кто-то внутри меня и удесятерил мои силы. В следующую секунду я отбил Витькину руку и чугунным ядром, в которое превратился мой правый кулак, угодил ему прямо под дых. Витька онемел, разинул рот и стал похож на выброшенную на берег рыбу. Опрокинув его, я стал молотить по безвольно мотающейся башке – справа, слева, справа, слева - до тех пор, пока меня не оттащили. Меня держали за руки, я хрипел: «Ну что, сука, получил?!», а кто-то торопливо бубнил мне в ухо: «Всё, Мишка, хорош, хорош...»

Так в канун моего тринадцатилетия во мне наперекор покорной судьбе поселилась желтоглазая тигриная ярость. Я пришел домой с расквашенными губами и подбитым глазом и торжествующе объявил перепуганной матери:

«Я его победил»

«Кого?!» - заломила руки мать.

«Витьку Шихеля. И теперь меня никто не победит»

В прихожую вышел отец. Увидев, в каком я виде, сказал матери:

«Иди-ка, мать, в комнату, мы тут побеседуем»

Мать ушла, и он велел:

«Рассказывай»

Я рассказал все, как было, в том числе про выкидыш.

«Ну, и кто кого?» - спросил отец.

«Конечно, я его!» - скривился я от боли.

Отец помолчал, разглядывая мое лицо, а потом спросил:

«Больно?»

«Нисколько» - мужественно шевельнул я разбитыми губами.

Отец осторожно взъерошил мои волосы, потом встал, открыл дверь в комнату с матерью и сказал:

«Иди, мать, лечи героя»

Дальше были примочки из календулы и заслуженный сон.

Наутро я проснулся как от толчка. И тихое облегчение внутри - словно меня освободили от тяжелой, гнетущей ноши. Было позднее утро - время героев и победителей. Впереди - почести и слава. Я встал, и мои плечи расправились сами собой. Отец уже ушел на работу, мать - по своим делам, у меня же начались весенние каникулы или мартовские иды, как их назы-

вала мать. Я прошел в ванную и посмотрел в зеркало. Оттуда на меня глянула чужая распухшая физиономия. Жаль, что не надо идти в школу. Я представил ахающий щебет девчонок и уважительные взгляды одноклассников. «Ты чего такой?» - спросит кто-нибудь, и я небрежно отвечу, что проучил одного урода. Найдутся свидетели, и история о том, как Мишка Королев отметелил Витьку Шихеля пойдет гулять по школе, обрастая подробностями.

Обошлось без последствий. Отец переговорил с отцом Витьки, тот добавил сыну за грязный язык, и Витька стал обходить меня стороной. Все же я его подкараулил и пообещал:

«Еще раз полезешь – убью»

«Да пошел ты!» - шарахнулся Витька.

Через полгода он и вовсе переехал с родителями в другой город.

После драки со мной определенно что-то произошло: внутри словно образовался крепкий стержень, не позволяющий мне отныне сгибаться перед кем бы то ни было. Кроме того, у меня появился авторитет, что и подтвердил один из старших друзей, сказав мне:

«Ну ты, Мишка, зверь! Если бы мы тебя не оттащили, ты бы его убил!»

Я вдруг представил себя на месте побежденного Витьки, и мне стало его жаль.

На каникулах должна была состояться городская художественная олимпиада, на которой мы с Сонькой Крыловой должны были исполнить военную песню «В лесу прифронтовом», и когда я через два дня явился со своим лицом в школу на генеральную репетицию, учителя едва не попадали в обморок. Номер был под угрозой. Выручил учитель пения Владимир Иванович, который предложил нарядить Соньку медсанбатовской девчонкой, а меня - раненым солдатом с гармонью. Идея понравилась. Нашлись гимнастерки, мне для пущей правды забинтовали голову, и Сонька выдала такой вдохновенный вокал, а я такой отчаянный проигрыш (чуть баян не порвал), как будто нам и правда после этого в бой! Зрители повскакали с мест, нас несколько минут не отпускали со сцены. Каково же было изумление членов жюри, когда выяснилось, что синяки и ссадины у гармониста настоящие! Это, однако, не помешало наградить нас почетными грамотами. Для меня же самым удивительным было то, что вместо нашего оригинального номера и почетных грамот мой внутренний информатор попытался подсунуть мне блеклую картинку нас с Сонькой – прилизанных, наутюженных, натужных. Картинка сконфузилась и растаяла, оставив после себя предчувствие чего-то незнакомого и волнующего. За нашей первой песней последовала вторая, за ней третья, затем к Соньке присоединились две ее подружки, и наше трио стало гвоздем школьной самодеятельности. С тем и пошли в седьмой класс.

Ох, уж эта Сонька, самая яркая девчонка наших трех седьмых классов! Да что там седьмых – всей школы, пожалуй! Из семьи врачей, на удивление ладная, своенравная, с мелодичным, звонким голосом, пригожим, капризным личиком, тугой золотистой косой, громкими суждениями и командирскими замашками. Сюда же точеные, что называется, ножки, которые она подволакивала с трогательной детской косолапиной. Именно с ней испытал я первые схватки нарождающегося сердечного томления. Тем, что я дважды за нее заступился (хотя, по сути, оба раза я вступался не за нее, а за справедливость), я, сам того не ожидая, заслужил ее благосклонность, которую она понимала весьма своеобразно. Отделив от прочих поклонников, она утвердила меня в должности доверенного по особым поручениям. Например, могла сказать:

«Сегодня останешься после уроков, будем новую песню разучивать»

Я естественно оставался.

В другой раз говорила:

«Проводи меня, чтобы Артамонов с Анищевым отстали»

И я, косясь на ее беззаботное личико, с чертовски умным видом шествовал рядом, роняя на ходу что-нибудь страшно серьезное.

А однажды огорошила:

«Ты можешь надавать этому Брилеву из 7«В»?»

«За что?» - осторожно спросил я.

«За то, что манерной дурой обозвал!» - вспыхнула она.

«Ну, урод!» - пробурчал я и, поймав на перемене Брилева, против которого лично ничего не имел, взял его за пуговицу и посоветовал:

«Андрюха, ты это... к Соньке не лезь, ладно? А то мне придется... Ну, сам понимаешь...»

«Да понимаю я, Мишка, понимаю!» - поторопился он отнять пуговицу.

«И на катке будь поосторожней. Можешь ногу подвернуть...» - потрепал я его по плечу. Назавтра он упал, сильно подвернул ногу и неделю не ходил в школу.

«О чем это ты с Людкой Смирновой так долго говорил?» - требовала она меня к ответу с коварной улыбкой.

«Да я это... задачу ей трудную объяснял...» - смущенно оправдывался я.

«Ну, объяснил?»

«Объяснил...»

«То-то она такая довольная!» - язвила Сонька.

«А ты не довольная, когда с Витька Царевым говоришь?» - хотел брякнуть я, но вовремя прикусил язык. Витька Царев – смазливый пацан из параллельного класса, которого я считал своим соперником, точно полезет за нее в драку, был бы повод. Так что прояви я строптивость, и она сделает адъютантом его. Одного я не понимал: ведь Сонька прекрасно знала, за что я подрался с Витькой Шихелем. Знала, что он пусть и на словах, соединил нас в некоем темном, постыдном, взрослом действе с унижительными последствиями. Все равно что вымазал дегтем. Лично мне даже думать об этом было стыдно! Соньку же, судя по ее беззаботному виду, это ничуть не смущало.

В остальном я жил соответственно возрасту. Время было сытое, романтическое, приподнятое, и я пропитывался эпохой, прислушивался к взрослым разговорам, любил «Битлз», под их влиянием освоил гитару и вдобавок пошел в секцию бокса.

«Ты похож на хулигана, - недовольно косилась Сонька на мои ссадины и ушибы. - Зачем тебе этот бокс?»

«Чтобы тебя защищать» - отшучивался я.

«От кого?» - хмурилась Сонька.

«Например, от хулиганов»

Хулиганы хулиганами, но когда ее на школьных вечерах приглашали старшеклассники, и она с томной улыбкой шла с ними танцевать, у меня чесались кулаки.

Мы ходили с ней в кино, гуляли, разговаривали. Я говорил, что после школы поеду поступать в Москву, но пока не знаю, в какой институт. Она говорила, что хочет поступить в медицинский. После того как она первый раз побывала у меня, отец спросил:

«Так это из-за нее ты дрался?»

«Да» - смутился я.

«Молодец, - одобрительно улыбнулся отец. – Я бы в твоём возрасте из-за нее тоже подрался»

В нашем дворе ни от кого ничего не скроешь, и вот уже мой старше меня на три года товарищ, Колька Парамонов (курит, выпивает, работает слесарем в депо, готовится к армии и покровительствует мне) - высказался при встрече:

«Красивая девка. Только имей в виду, у нее уже менструации есть»

«Ну и что?» - покраснел я, не имея ни малейшего понятия, о чем речь.

«А то, что она уже залететь может!» - важно сообщил Колька.

«Это как?» - покраснел я еще больше.

«А это когда вот так! - пошлепал Колька ладонью в торец кулака. Неприличный жест, давно мне знакомый, но с такой же мутной сутью, как и то, что он говорил. – Ты уже спермой стреляешь, у нее менструации, так что запросто...»

Все это было сказано серьезно, по-мужски, без дураков. А что если он, как и я видит картины предстоящего и таким неуклюжим образом хочет меня предупредить? Нет, нет, представить, что такое случится завтра или послезавтра невозможно! Если только лет этак через пять-шесть. Ну, так это и я могу предсказать.

«И что мне делать?» - смотрел я на него, красный как рак.

«Не кончай в нее, понял?» - словно открывая страшную тайну, понизил голос старший товарищ.

«Понял!» - бросил я, хотя ничего не понял и, охваченный душным стыдом, поспешил прочь.

На самом деле я не знал, как назвать то, что я чувствовал, бывая с ней. Знал только, что мне было хорошо, как ни с кем и никогда. Но назвать хотелось. Назвать запретным, заветным, сердечным словом, с которым я почувствовал бы себя взрослым. И я пошел на хитрость: к выпускному вечеру десятиклассников задумал разучить с Сонькой и ее подругами песню Битлз «She Loves You». Хитрость заключалась в том, чтобы на чужом языке спеть про любовь. Был уверен, она поймет.

Я пришел к знакомому десятикласснику и попросил найти слова песни. Будущий выпускник нашел, вручил мне и напутствовал:

«Молодец, чувак, давай, делай!»

Я расписал песню на три голоса, и мы под гитару приступили к тайным репетициям: кто знает, как отнесутся учителя к любовной песне в исполнении семиклассников. Репетируя, Сонька понимающе поглядывала на меня и улыбалась. Добившись подходящего звука, я сказал знакомому, что мы готовы. Один из его одноклассников взялся подыграть нам на пианино, другой – на балалайке-контрабасе, остальные, прослушав, вскочили и наградили нас звучными, одобрительными хлопками. Я охладил их восторги, сказав:

«Маруся не разрешит»

Марусей мы звали завуча Марью Федоровну.

«Ну, это мы еще посмотрим!» - хлопнули меня по плечу.

Маруся разрешила. Успех был оглушительный. Соньке я сказал:

«Вы молодцы. Спели лучше битлов»

«А знаешь, что мне в песне понравилось больше всего?» - улыбнулась Сонька.

«Что?»

«Припев» - со значением посмотрела она на меня и покраснела.

Так месяц за месяцем взрослея и наполняя дни нашей жизни крепнущей симпатией, с волнующим замиранием постигали мы на ощупь неведомую нам школу чувств. Каждый день был для нас значимым событием и, пережив их одно за другим, окончили мы восемь классов и перешли в девятый.

8

В начале лета мне исполнилось пятнадцать, и я по-прежнему был поставщиком плохих новостей. Правда, к этому времени я окончательно освоился. Мелкие не принимал в расчет, серьезные пытался по мере сил предотвращать. Но люди упрямы. Особенно те, кто считает себя умным. Они упрямее ослов и всегда себе назло. Разумеется, это не относилось к родным людям, куда теперь попала и Сонька. Только с ней получалась вот такая штука: жизнь ее словно разделилась на две – в первой она жила без меня, а во второй со мной. Предупреждения о событиях ее первой, сторонней жизни являлись мне также ясно, как и все остальные. Напри-

мер, когда она в середине апреля семьдесят пятого года пожаловалась, что у нее побаливает живот, я сразу ей сказал, что это аппендицит и что придется его удалить. Она удивилась и сказала, что отец ей говорит то же самое. Через неделю аппендикс ей удалили. Я дважды побывал у нее в больнице, и во второй раз одна веселая тетка из их палаты встретила меня словами: «Глянь, Сонька, опять твой жених пришел!» Сонька покраснела, я тоже, и чтобы скрыть смущение стал рассказывать школьные новости. Она выслушала меня, а потом сказала, что на животе у нее теперь останется некрасивый шрам. «На животе – не на лице» - сказал я и ткнул пальцем в шрам у себя на левой скуле, куда заехал мне на тренировке шнуровкой один заполошный пацан, которого я после этого уложил одним ударом. Сонька грустно улыбнулась, и я очень серьезно спросил:

«Больно было?»

«Нет, - пробормотала она. – Наркоз...»

До конца мая я, пользуясь тем, что ей нельзя было носить тяжести, провожал ее до дома и нес портфель. Иногда она пыталась забрать его у меня, но я строго говорил: «Нет, тебе нельзя». В ответ она негромко возмущалась, спрашивала: «Ты что, все жизнь будешь вместо меня носить?». «Если надо будет, буду!» - ответил я, как отрезал.

Что же касается второй ее жизни, то она была покрыта для меня непроглядным мраком. Как ни пытался я заглянуть в наш завтрашний день, память моя невозмутимо помалкивала. Вместо откровений - темнота и ровные потрескивания, словно слушаешь винил, на котором записана тишина. И это было хорошо: лучше полное неведение, чем плохие новости.

Лето накануне девятого класса превратилось для нас в сплошную разлуку. Сначала родители Соньки на весь июнь увезли ее на юг, а в начале июля меня с дедом должны были отправить в деревню – ту самую, где жили наши родственники и где меня, маленького, едва не забила корова. В промежуток между Сонькиным возвращением и моим отъездом уместились четыре драгоценных дня, и мы сполна воспользовались ими. Она рассказывала о море, о превратностях санаторного житья, о южных людях и пузатых мужиках, которые пялились на нее на переполненных пляжах, о том, как полезно проехать через полстраны и узнать, какая она разная и огромная. Впечатления переполняли ее, она по очереди их перебирала и вдруг хватала меня за руку, восклицала: «А самое интересное знаешь что?» и возвращалась назад, к недосказанному. Я слушал, не перебивая, и мне хотелось, чтобы это никогда не кончалось.

Мы успели побывать на пляже. Она предстала передо мной аллегорией нарождающейся женственности, и от нее было глаз не оторвать. Это о таких, как она старшие пацаны, провожая взглядом, вещали: «Она не идет, а пишет, а я читаю плохо, плохо!..» Мы искупались, нашли укромное место среди кустов, улеглись на песок, и она, указывая на свой плоский, смуглый живот, пожаловалась: «Гляди, какой ужасный шрамик...» Следуя приглашению, я приблизил к нему лицо, которое неожиданно налилось жаром. Мне вдруг стало душно, и я, плохо соображая, коснулся шрама губами, но тут же отдернул и посмотрел на Соньку. Она глядела на меня, и в ее глазах читалось одобрение. И тогда я стал целовать такой неуместный на ее гладком теле рубчик, а потом живот. Я скользил горячими губами по нежной коже, и Сонька молча ворошила мои волосы. Вдруг неподалеку раздались взрослые голоса, я отпрянул, и мы быстро сели. Некоторое время сидели, отводя глаза, потом встали и пошли в воду. Зайдя по грудь, я подхватил ее на руки. Она закрыла глаза, губы ее приоткрылись, и я осторожно припал к ним. Они ожили и ответили. Так мы и стояли, ласкаемые мелкой волной и горячим солнцем и не замечая не то что отдаленный пляжный гомон, но само время. Оторвавшись, я тихо произнес:

«Сонечка...»

«Мишенька... - с нежной улыбкой отозвалась она.

Возвращаясь на автобусе домой, мы переглядывались и улыбались. Вечером пошли в кино, и я весь сеанс не выпускал ее руку. Дойдя до ее дома, вошли в тихий подъезд и, не сговариваясь, потянулись друг к другу губами.

«Сонечка...» - шепнул я, оторвавшись через пару минут.

«Что...» - шепотом отозвалась она.

«Я не умею целоваться...»

«Я тоже...» - с тихим смешком призналась она.

«Но мне и так хорошо...»

«Мне тоже...»

Я шел домой и чувствовал себя внезапно и ужасно повзрослевшим. Но как же быть с аномалией в моем ставшем уже привычным ясновидении? И почему она касается только нас с Сонькой? Промолчать про наш первый поцелуй – это что, вызов или начало слепоты? И каково это – жить, не видя дальше собственного носа?

9

Забираясь в укромные места и целуясь до сладкой одури, мы провели вместе три дня. Запах ее волос и вкус ее губ дурманили мой рассудок, и на его место из глубины вздымалось нечто грозное, пугающее и безрассудное. Стараясь не доводить дело до греха, я отстранялся, отводя багровое лицо и шальные глаза. На четвертый день мы спрятались у нее дома. Целуясь, я оглаживал ее гибкое, податливое тело и не заметил, как впал в бесовской раж. Плохо соображая, я задрал ей сзади подол и принялся тискать то, что находилось пониже спины. Сонька оторвалась, ухватила меня за руки и скучным взрослым голосом сказала:

«Так дело не пойдет»

«Почему?» - спросил я, все еще плохо соображая.

«А ты не понимаешь?»

«Нет...»

«Тем хуже для тебя»

Она встала, одернула платье, и от нее вдруг повеяло холодом. Я вскочил и на всякий случай взмолился:

«Сонечка, прости, я больше так не буду!»

Не глядя на меня, она произнесла:

«Я сама виновата. Слишком много тебе позволила. Думала, ты рыцарь, а ты такой же как все»

«Соня, Сонечка, не надо, не говори так!» - заголосил я.

Она взглянула на мое перепуганное лицо и сказала:

«Раньше рыцари ради своих дам сердца совершали подвиги, а нынешним лишь бы залезть им под подол»

«Сонечка, прости, я не хотел!» - вспотел я.

«Ты думаешь, если я целуюсь с тобой, то тебе все можно?» - гнула она своё.

«Нет, Сонечка, не думаю!» - изнемогал я от страха.

«Я что, должна разочароваться в тебе?»

«Нет, Сонечка, нет, не надо!» - задыхался я.

«Ты хоть понимаешь, что натворил?»

«Понимаю, понимаю!» - закивал я головой.

«Нет, не понимаешь, – строго смотрела она на меня. - Ты хотел сделать меня в пятнадцать лет женщиной. Хотел, чтобы все показывали на меня пальцем»

«Ничего я не хотел! Честное слово, не хотел! Я даже не знаю, как это делается!» – заверещал я.

«Тут и знать нечего, - прищурилась Сонька. – Для этого есть инстинкты»

«Какие инстинкты, какие инстинкты?! – возопил я. – Да мне даже думать об этом стыдно!»

«Ага, значит, все-таки думаешь...» - спокойно смотрела на меня Сонька.

«Нет, не думаю, потому что это просто невозможно!»

«Почему же, - шурилась Сонька. – Если бы я промолчала, ты бы точно это сделал»

«Ни за что и никогда!» - с праведным жаром выкрикнул я.

«Ладно, пойдем пить чай» - неожиданно ослабила хватку Сонька.

Я поплелся за ней на кухню, где без сил опустился на стул. Сонька приготовила чай, наполнила чашки и уселась напротив. Я сидел в изнеможении, как избежавший смертельной опасности человек, и смотрел на нее глазами приبلудного пса.

«Что смотришь?» - спросила она.

«Ты красивая и умная, а я боксер и дурак» - проямлил я.

«Ты еще хуже. Ты грубый, бесчувственный чурбан»

Тут до меня, наконец, дошла вся чудовищная низость моих поползновений. Если Сонька добивалась именно этого, то она преуспела. Я вдруг ощутил неведомое мне ранее опустошение и в полном отчаянии пробормотал:

«Сонечка, пожалуйста, не мучь меня, а то я уйду и где-нибудь повешусь...» -

«Нет, вешаться не надо, и уходить не надо, - встала Сонька. – Иди ко мне...»

Я с трудом поднялся, подошел и обратил на нее измученное страхом лицо.

«Просто есть вещи, которыми нам еще рано заниматься, понимаешь? – обняв меня, заговорила она ласковым голосом. - Сейчас же не средние века, и мы с тобой не какие-нибудь Ромео с Джульеттой...»

«А кто же мы?» – хотел спросить я, но она продолжила:

«Ты хочешь, чтобы я была только твоя? Я и так только твоя. А то, что ты хотел сделать...»

- запнувшись, зарделась она. - Об этом я когда-нибудь сама попрошу...»

Я молчал, боясь сказать лишнее, и она спросила:

«Ну что, договорились?»

Я проглотил ком, кивнул и с жалкой улыбкой признался:

«Я так испугался, что ты меня прогонишь... Даже ноги стали ватные...»

«Поцелуй меня» - обхватила она ладонями мое лицо.

И я поцеловал – так нежно, как только возможно. Не скрою: я был впечатлен ее разумностью и легкостью, с которой она говорила о таких щекотливых вещах. Только честное слово боксера, у меня ничего такого и в мыслях не было - я просто следовал инстинкту, не имея понятия, куда он меня заведет!

При расставании она, положив одну руку мне на грудь, а другой теребя пуговицу моей рубашки, сказала:

«Я буду думать о тебе, а ты думай обо мне. Так время быстрее пролетит. Я на юге так делала. И не дерись там. И не вздумай завести какую-нибудь барышню-крестьянку. И вообще, будь осторожен: прежде чем что-то сделать, подумай о нас. Договорились?»

«Договорились, Сонечка!» - смотрел я на нее сквозь радужную слезную пелену.

10

Я заметил: везде, где со мной нет Соньки, мне невыносимо скучно. Тем более в деревне. И если я рассказываю о ней, то только ради события, которое той же важности, что и драка с Витькой Шихелем.

Мы отправились в путь второго июля во вторник. От города до деревни сто километров на поезде и тридцать на ожидавшем нас в райцентре колхозном грузовике. Следуя Сонькиному совету, я всю дорогу думал о ней. Пытался представить, что она будет делать без меня. Она, конечно, любит читать, но это не летнее занятие. Во всяком случае, книги, которые задают на лето, полностью читает только наша отличница Людка Смирнова. И получается, что Соньке

надо будет ходить в кино и на пляж, где на нее будут не только пялиться, но и подкатывать чужие пацаны. Надо будет с кем-то гулять, да еще в этой ее коротенькой юбчонке, про которую мой старший товарищ щербато шутил: «Если дело так и дальше пойдет, женщины будут делать завивку и красить губы». Шутку я, хоть убей, не понимал, но улыбался понимающе. Да, подруг у нее полно, но всякая девчоночья компания притягивает к себе противоположный пол, а уж когда все перемешаются, можно ждать чего угодно. Ну и что, что она сказала, что только моя? Она моя, пока я рядом, а без меня она общая! Не удивительно, что к концу пути мысли мои стали чернее ночи. Если бы не дал отцу слово, что поеду с дедом и помогу ему, вот ей-богу бы не поехал!

Доехали, разгрузились у дома бабы Нюси, дедовой сестры и стали осваиваться. Дед пошел по родственникам и друзьям звать их к нам на вечер. Сам я в этих краях был последний раз восемь лет назад, и с тех пор тут многое изменилось. В деревне было несколько сот дворов, и к вечеру наша изба была полна народу. Я запутался, где у нас золовка, где деверь, кто шурин, сват и брат. Знал только, что для сестры деда я вроде как внучатый двоюродный племянник, для ее детей – просто двоюродный племянник, а для детей их детей – троюродный брат. Для прочих стариков и старух я был сын Катюхи Махеевой. Я обновил знакомство с моими двумя изрядно повзрослевшими братьями и тремя сестрами, а заодно с их друзьями. При виде подружки одной из сестер (шестнадцать лет, сарафан, веснушки, васильковые глаза, пшеничные волосы, спелые, потрескавшиеся губы) что-то внутри меня насторожилось. Она же без стеснения рассмотрела меня и воскликнула:

«Ох, Зойка, какой у тебя видный брат!»

«Да, Светка, мы Махеевы такие!» - расцвела сестра.

Компания поделилась надвое: на одном конце стола преобладали пожилые, на другом – молодежь, причем меня усадили рядом со Светкой. Постепенно изба наполнилась ровным гулом. Тон задавали старики – вполне еще крепкие и задиристые. Деду было шестьдесят пять, остальным чуть больше или меньше. Тосты следовали один за другим, и мои несовершеннолетние братья и сестры с их друзьями и подругами нет-нет, да и прикладывались к рюмкам.

«А ты чё не пьешь?» - поинтересовалась повеселевшая Светка.

«Нельзя. Спортсмен» - коротко сообщил я.

«Ох, ты! И кто ты у нас?»

«Боксер»

«Народ, слышали? Мишаня у нас боксер и водку не пьет!» - сообщила Светка.

«Чё, совсем?» - удивился один из братьев, а другой пошутил:

«Значит, нам больше достанется!»

Дед здесь был душой компании. Его знали, им гордились, и когда пришло время, кто-то крикнул:

«Давай, Григорий Федотыч, гармонь!»

Появился баян, и полились одна за другой песни – фронтовые и народные.

«Ну, всё, понеслась душа в рай! Теперь не остановишь. Пойдем, Мишаня, покурим» - услышал я недовольный Светкин голос.

«Да я не курю»

«Все равно пойдем»

Мы вышли во двор, за нами вся молодежь. Закурили, заговорили о чем-то своем, деревенском, понижая голос и подаваясь лицом в сторону собеседника. Голубеющие сумерки молча, но настойчиво давали понять, куда дело клонится. Из ближайшего леска выползал низкий туман, остывающий воздух густел, пропитывался ароматной влагой, позванивал стылыми нотами. Я втягивал носом деревенскую парфюмерию с заметным духом земляники и вспоминал, как собирал ее здесь восемь лет назад.

«А что, земляника в этом году есть?» - спросил я Светку, которая словно прилипла ко мне.

«Полно! – откликнулась Светка. – Хочешь, свожу»

«Посмотрим» - уклонился я.

Оказалось, она бывает в нашем городе по делам сельмага, которым заведует ее мать.

«Знаю, знаю, чем вы там дышите! – важно сообщила она. – Дышать здесь надо, а не у вас!»

Я спросил, где она учится, и она ответила, что закончила восемь классов и больше ей не надо. Я хотел спросить про здешний культурный досуг, но тут на крыльцо вышла некая свояченица и крикнула:

«Мишаня, там тебя зовут!»

Я направился в избу, Светка с сестрами за мной.

«Мишка! – встретил меня голос деда. – Покажи, что ты умеешь! Изобрази «Полет шмеля»!»

«Так ты и на гармошке можешь? - хохотнула Светка. – Ну-ка, ну-ка!»

Я понял, что дед таким заготовленным образом передает мне фамильную эстафету, и подвести его я никак не могу. Я взял баян, мне подставили табуретку, я сел и пробежал по кнопкам вверх-вниз. Народ притих, и я выдал такого «Шмеля», какого не играл даже на экзамене! Оказывается, в деревне тоже умеют аплодировать, да еще как!

«Сколько ему?» - громко спросил деда его старый друг.

«Пятнадцать»

«О как! А по виду совсем мужик!»

«Так он у меня еще боксом занимается!» - наливался гордостью дед.

Ко мне подходили его друзья, хлопали по плечу и, обдавая луковым духом, хвалили так же энергично, как если бы костерёжили. Я пошел во двор и уже на самом выходе услышал:

«Ну, Федотыч, давай за молодую смену!»

Во дворе, за колкими верхушками далеких елей, присев на корточки, готовилась устремиться в небо полная луна.

«Может, она тоже видит сейчас эту красоту» - подумал я.

11

Утром баба Нюся спросила:

«Мишаня, молочка парного не хочешь? У соседки взяла, своего-то теперь нет...»

Я вспомнил, как давился им в мои малолетние утра и поспешил отказаться:

«Спасибо, бабуля, я теперь по утрам кофе пью!»

«Эх, совсем ты там у себя от природы отбился!» - огорчилась баба Нюся.

Муж бабы Нюси погиб в войну и с тех пор дед с братом помогали ей, чем могли. После завтрака мы с дедом обошли ее хозяйство и наметили план работ. Надо было подправить крышу, забор, залатать щели в хлеву и сарае, еще кое-что по мелочи - словом, все то, до чего по причине занятости не доходили руки ее сына и было не под силу двум ее внукам.

«Это все ерунда! - приговаривал дед. – Главное, Мишка, в деревне – это сенокос. Когда-то я любил косить. Мужик перво-наперво должен был уметь косить. Не драться, а косить. Как говорили, каждый, кто дорос, спешит на сенокос. Сейчас сестра корову не держит, так что сено заготавливать не надо...»

Дед отпил кусок доски и продолжил:

«Это же я упросил тебя Мишкой назвать... Был у меня на фронте друг боевой Мишка Фадеев. Сколько мы с ним прошли! Погиб за месяц до конца войны... Меня спас, а сам погиб...

На войне ведь как: кого-то ты спасаешь, кто-то тебя... Так вот мы, бывало, лежим в поле и мечтаем, как после войны выйдем с косами на луг, да как махнем!..»

Дед вытер глаза рукавом рубахи и произнес в сторону:

«Эх, Мишка, Мишка... Лежит теперь там где-то, а над ним чужая трава...»

И глядя на меня:

«А ты живи, Мишка! Купайся, загорай, девок щупай! В общем, живи, на полную катушку!»

Какое тут живи! Не мог же я оставить деда наедине с молотком, топором, пилой и гвоздями! Так и колобродил с ним весь день, а как солнце покатилося за лес, пошел на речку. А там уже полдеревни и, конечно, Светка. О, да, ей нечего было скрывать. Как говорит мой дядя Леша: всё при ней и в лучшем виде. Возле нее терся незнакомый парень лет на пять старше меня. Увидев меня, Светка закричала:

«Мишаня! Ты, может, еще и плавать умеешь? А ну-ка, покажи!»

И я показал: с разбега сиганул в воду и в три маха достиг другого берега. Благо, речка была неширокая. Потом выплыл на середину и минут пятнадцать плескался там, пофыркивая. Когда выбрался на берег, Светка одобрительно разглядела меня и сказала:

«И правда спортсмен»

Незнакомый парень рядом с ней косо на меня глянул.

Вечером пришла сестра Зоя (они с сестрой Ларисой жили с отцом и матерью отдельно от бабы Нюси), и мы устроились с ней во дворе.

«Ну, и как тебе у нас?» - первым делом спросила она.

«Хорошо, Зочка! - с легким сердцем признался я. – Какие вы здесь все хорошие, правильные и... - запнулся я, подыскивая слово. Найдя, добавил: - ...простые. В хорошем смысле, конечно...»

«Всякие есть...» - уклонилась сестра.

«Ты мне вот что скажи... - заторопился я. – Ты дом бабы Нюси хорошо знаешь. Скажи мне, что еще сделать. Может, засовы поправить или там дверь где-то плохо закрывается или что-нибудь еще... В общем, подумай и скажи, хорошо?»

«Хорошо!» - улыбнулась сестра, и своей улыбкой чем-то напомнила мне Соньку.

«Как ты хорошо улыбаешься...» - не сдержался я. Единственный, а значит, заведомо ущербный ребенок моих родителей, я вдруг осознал, что мое одиночество кончилось, и теперь я часть большой и дружной семьи. Новое, живительное чувство растрогало меня.

«Ты ведь знаешь, что у меня была сестра...» - начал я, весь во власти нахлынувшего родственного чувства.

«Да, Мишаня, знаю, конечно, знаю...»

«Так вот я понял, что мне всегда не хватало старшей сестры... И ты не представляешь, как я рад, что вы у меня есть!»

«Братик ты наш! - вдруг обняла меня Зоя. – Мы тоже очень рады, что ты у нас такой взрослый и правильный! Не бойся, мы тебя в обиду не дадим! Вот закончу десять классов, поступлю у вас на ветеринара и буду у тебя всегда под рукой...»

И помолчав, сообщила:

«Между прочим, на тебя Светка, подруга моя, глаз положила...»

«Светка? – развеселился я. – Но это же смешно! Я же еще маленький! У вас что, постарше никого нет?»

«Да есть, конечно, но она такая... Если в голову чего вобьет – не свернешь...»

«И что мне делать?» - продолжал веселиться я.

«Это уж тебе решать. Можешь, конечно, воспользоваться. Девка она неплохая, только легкомысленная. Ты вот поживешь и уедешь, а она останется. В общем, смотри сам. Только имей в виду – если захочешь ее соблазнить, я вам свечку держать не буду»

«Зюечка, какая свечка, ты что?! Я ведь не за этим сюда приехал!» - попытался протестовать я.

«Ты уже целуешься?»

«Ну так... Понемногу...» - покраснел я.

«В общем, смотри, я тебя предупредила...»

Я вдруг увидел Светку такой, какой она была на речке, и по коже пробежал сладкий озноб.

«Ну, ладно, пойду. Мне завтра с утра на прополку. Спокойной ночи, братик!»

И поцеловав в щеку, сестра ушла, оставив меня смотреть на почерневший горизонт под сгустившейся платиной заката. «Темнота – друг молодежи» - пришла мне на ум любимая с некоторых пор шутка моих сверстников, которую они роняли с многозначительной улыбкой, примеряя на себя новые, волнующие радости, которые сулило им неумолимое взросление. Я вспомнил тот свербящий огонь, который при виде русалочьей Светкиной стати вспучил мои плавки и который я поспешил потушить, бросившись с разбегу в воду. И вот теперь выходило, что при желании я мог познать с ней то манящее неведомое, в чем отказала мне Сонька. Тот же постыдный, свербящий огонь вспыхнул в паху и, тряхнув пламенной гривой, нехотя погас. Ночью мне приснилась наша со Светкой тесная возня, и я проснулся с мокрыми трусами.

Так продолжалось до воскресенья. Я искал возможности оказаться со Светкой наедине, но днем она была занята, а вечером приходила с моими сестрами к нам во двор, где я потчевал их музыкой с моего предусмотрительно прихваченного магнитофона «Весна – 306». Тут тебе и «Битлз», которых я особенно любил, и «Роллинг Стоунз», и «Зе Ху», и «Дорз», и Джим Моррисон, и «Пинк Флойд» с их «The Great Gig in the Sky» и, конечно, «Прокол Харум» с их «A Whiter Shade of Pale», которую я подобрал в органном регистре и с удовольствием исполнял, когда меня просили. Я говорил девчонкам, что это и есть настоящая современная музыка, но они быстро от нее уставали и просили включить наше, привычное. Я находил им что-нибудь вроде «Нет тебя прекрасней» или Ободзинского и танцевал с ними по очереди. Светка обхватывала меня за шею и загадочно отводила глаза. Один раз вскинула их на меня и спросила:

«Ну, и как тебе у нас? Нравится?»

«Очень!» - ответил я, торопясь насладиться тонким, благоуханным запахом ее близких подмышек. Еще мне нравился ее грудной голос. Один раз даже проводил ее до дома. У ворот она предложила:

«Может, зайдешь? С матерью познакомлю»

«В следующий раз!» - поспешил отказаться я, отводя глаза от ее наполовину обнаженной груди.

Встречая ее вечером на берегу речки с подругами, я махал ей издали в знак приветствия, а искупавшись, садился в сторонке и краем глаза наблюдал за ней. Зная, что я подглядываю, она оживлялась, отводила плечи, гордо вскидывала голову, принимала картинные позы, охотно и мелодично смеялась. Телом она была чуточку полнее Соньки и до дрожи соблазнительная. Так мы дожили до воскресенья.

12

Накануне я от Зои узнал, что вечером возле клуба соберется народ и будут танцы. Договорились встретиться там в девять. В назначенное время я пришел туда в белой рубашке. Возле клуба, на широкой, до земли прибитой поляне уже топталась молодежь. Вдоль клуба, на скамейках сидели те, кто постарше. Я шел вдоль скамеек и здоровался, улыбаясь и кивая головой.

«А ну-ка, ну-ка, иди сюда! – ухватила вдруг меня за руку какая-то тетенька. – О, какой молодец вымахал! Молодец, молодец! Мы ведь с твоей мамкой подруги были, не разлей вода! Так и скажи ей: видел, мол, тетю Клаву Тищенко, привет большой передавала! Передашь?»

«Конечно!» - смущенно улыбался я.

«Ну, давай, давай, отдыхай!»

И с возбужденным удивлением обратилась к сидевшей рядом старушке:

«Вот чужие дети-то как быстро растут!»

«Это кто же такой?» - спросила старушка, белея морщинистым лицом.

«Да Катюхи Махеевой сын! Помнишь Катюху Махееву?»

«Ну, как же, как же, помню!» - подумав, важно сообщила старушка.

И тут меня увидел старый в прямом и переносном смысле друг деда, дед Никола.

«Мишаня, здорово! – громко заговорил он. – А ты чё без баяна?»

«Так ведь здесь магнитофон» - смутился я.

«А мы хотим по старинке, под гармошку! Смотри, скока нас тут!» - повел он рукой вдоль клубной стены.

«Да неудобно как-то... Мешать будем...» - замялся я.

«А что, давайте под баян, как раньше! – раздался рядом Светкин голос. – Кто за?»

Молодые молчали, и Светка заключила:

«Видишь, все за! Давай, Мишаня, за баяном!»

Пришлось идти за баяном. Меня усадили на стул и я, подумав, заиграл «В лесу прифронтовом».

«О! То, что нужно!» – воскликнул довольный дед Никола и пригласил пожилую женщину.

К моему удивлению к ним стали присоединяться другие пожилые пары, а потом и молодежь. Живая музыка тем и хороша, что может войти в резонанс с настроением тех, к кому она обращена. Все дело в исполнителе. «Знай, где добавить, где убавить, и слушатель твой» - говорили нам в музыкальной школе. На меня нашло вдохновение, и я заиграл «Амурские волны». Пожилой народ стал подпевать. После этого были «В городском саду играет духовой оркестр», «Офицерский вальс», «Эх, путь дорожка фронтовая», «Давай закурим, товарищ, по одной» и прочие из тех, что у нынешнего русского человека в крови.

Дождавшись паузы, Светка сказала:

«Включите что-нибудь медленное, хочу с баянистом станцевать»

Она что здесь самая главная, эта Светка? Но нашли и включили «Как прекрасен этот мир». Мы вышли в круг, и Светка по-хозяйски обхватила меня за шею. В этот раз она не прятала глаза, а смотрела на меня и таинственно улыбалась, словно знала обо мне то, что не знал я.

«Что?» - не выдержал я.

«За земляницей не передумал идти?»

«Нет. А когда?»

«На неделе. Я скажу»

В последующие дни она одна или с Зойкой приходила к нам по вечерам и оставалась дотемна. Я с удовольствием ее развлекал. Вспоминал смешные истории из моей школьной и пацанской жизни, пересказывал фильмы, которые до них еще не дошли, либо книги, которые она не читала, а таких было превеликое множество. Либо брал баян и тихо наигрывал классику. Мелодичная классика Светке нравилась.

«Как ты, не глядя, попадаешь на нужные кнопки? – простодушно удивлялась она. – У тебя что, на пальцах глаза есть?»

В среду она, прощаясь у своих ворот, спросила:

«Ну, ты готов?»

«Всегда готов!» - дурашливо ответил я.

«Тогда завтра. Встретимся утром в десять за МТС, там, где дорога на Выселки»

«Что с собой взять?»

«Я все возьму, а ты, главное, оденься так, чтобы комары не заели»

Утром после завтрака баба Нюся спросила, куда я собрался, и я ответил: с пацанами за земляникой. Она сделала мне пару бутербродов, выставила несколько корзинок, и я, выбрав самую маленькую, удалился.

Светка в брюках, рубашке, мальчишеских кедах и стянутой узлом на затылке косынке уже ждала меня с пухлым пакетом в руке. Я спросил, далеко ли идти, и она ответила, что километра два. Мы пошли по проселку через еловый лес. Светка была непривычно молчалива, и я, подождав, поинтересовался, не случилось ли чего.

«Нет, нет!» - словно спохватившись, оторвалась она от своих мыслей.

Я стал вслух вспоминать, как последний раз собирал здесь с матерью землянику, вкус которой, как и вкус парного молока, помнил до сих пор. Спросил:

«А ты восемь лет назад где была?»

«Здесь и была» - рассеянно ответила она.

Тенистый, сыроватый воздух еще не успел просохнуть после ночи и бередил обоняние елочно-мшистым духом.

«Ах, какой воздух! Так и просится в духи! – не выдержал я. – Кстати, всё удивляюсь, почему до сих пор не придумали духи с запахом скошенной травы и земляники!»

«Нравится?» - все также рассеянно спросила Светка.

«Очень!»

«Ну, значит, сначала земляника, а потом скошенная трава» - загадочно выразилась она.

Прошли еще метров сто, свернули в лес и через строй редких елей вышли на широкую поляну, большая часть которой была выкошена, а трава собрана в пухлые валки.

«Пришли, - объявила Светка. – Тут тебе и земляника, и скошенная трава. Всё как ты хотел»

«Траву вижу, ягоду нет» - улыбнулся я.

«Ягода здесь по-над лесом. Пойдем»

Мы переместились на солнечную часть поляны, и она сказала:

«Смотри в траве»

Я нагнулся и раздвинул высокую траву: в спутанных, пропитанных медовым духом зарослях тут и там клонилась к земле крупная, тяжелая ягода.

«Вот это да!» - восхитился я.

«Да уж, в городе такой нет! - снисходительно заметила Светка. – Ну, давай корзинку, буду тебе помогать, быстрее наберем»

«А себе?»

«Мне алиби не к чему» - удивила она меня редким для деревни словом.

Мы ползали среди травы около часа, то сближаясь, то расползаясь. Когда сходились, Светка закидывала в рот пригоршню ягод и говорила:

«Ты ешь, ешь прямо с куста, она чистая»

Или:

«Повезло нам, что жара. Комары почти не донимают»

Когда небольшая двухлитровая корзинка стала полной, Светка сказала:

«Теперь можно и на траву»

Нашли посреди поляны широкий, мягкий валок, и Светка, достав из пакета тисненое покрывало, набросила его на траву, плюхнулась на него спиной и поманила:

«Ложись»

Я помедлил и лег.

«Хочешь, разденусь?» - повернула она ко мне розовое, как от волнения лицо.

«Зачем?» - растерялся я.

«А ты еще не понял?»

«Чего не понял?»

Она посмотрела на меня протяжным, глубоким взглядом и сказала:

«Я хочу, чтобы ты был моим первым мальчишкой, понимаешь?»

И не дожидаясь моего мнения, извернулась и ткнулась губами в мои губы. Я ощутил запах и вкус земляники, и тотчас же в голове вспыхнула невыносимо яркая картина: я со спущенными штанами и красным от стыда лицом на ней, передо мной ее оскаленный, как от боли рот, близкие, страдающие глаза и в них приятное, набирающее силу удивление. Это видение впечатляющей силы и убедительности, требовательное и категоричное, как предписание и неоспоримое, как свершившееся событие, отвратить которое неспособен сам господь бог является мне с вальяжностью замедленной съемки, и его мельчайшие детали говорят: мы есть, нас не придумали, а значит, так должно быть и так будет, хоть ты лопни!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.